



Мэри Мейн

Эвита. Женщина с хлыстом

«Центрполиграф»

Мейн М.

Эвита. Женщина с хлыстом / М. Мейн — «Центрполиграф»,

Данная книга биографическая и повествует о жизни Эвиты (настоящее имя Эва Дуарте де Перон) – звезды эфира, жены аргентинского президента, диктатора Хуано Доминго Перона, «защитницы угнетенных» и «великой благотельницы», кровожадной и жестокой властительницы. Судьба и амбиции вознесли ее на вершину власти. Заполучив в свои руки миллиардное состояние, она поставила себе цель – отомстить высшему обществу за свое голодное, полное унижений детство.

© Мейн М.

© Центрполиграф

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Буэнос-Айрес | 5 |
| Глава 1 | 9 |
| Глава 2 | 18 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 22 |

Мэри Мейн

Эвита. Женщина с хлыстом

Буэнос-Айрес

Буэнос-Айрес – мой родной город, так же как для вас – Сиракузы, или Омаха, или Сан-Франциско, если вы родились и выросли там. Я сохранила о нем детские воспоминания, которые неизменно пробуждают все пять человеческих чувств, возвращая к жизни давно утраченные восторги. Я знаю его ритм – от быстрого перестука копыт по булыжной мостовой до шуршания автомобильных шин по асфальту авеню и легкого топота беспокойных ног, когда люди толпою покидают станции метро, торопясь на работу.

В то время болтовня женщин-служанок под томно клонящимися деревьями на площади звучала для детских ушей мирно, словно воркование голубей, в долгие часы сиесты все говорили шепотом, и закрытые ставни защищали комнаты от зноя или от пыли, что дымкой заволакивала город перед грозой, пока ветер не начинал хлопать окнами, разгоняя детишек, словно маленькое стадо, и наполняя душу восхитительным беспокойством. Первая мировая война шла где-то в другой части земного шара и, казалось, в ином времени.

Но отголоски этой бури доносились и до нас, и рябь покрыла прежде спокойное течение дней, и уже не из-за пыли закрывались в городе окна и запирались двери. Перед нами замаячил образ окруженного охраной пожилого человека с дуэльной шпагой, и дамы, собиравшиеся в гостиной моей матушки, щебетали, словно растревоженные птички, при звуке ружейных выстрелов или же взволнованно шептались о президенте¹, который, похоже, считал, что рабочий класс вправе с полным основанием разрушить уютные гнездышки.

К двадцатым годам ненависть утихла, и жизнь стала спокойной и роскошной, словно поток «роллсов» и «даймлеров», медленно объезжавших розарий парка Палермо; леди в высоких шляпах, похожих на бочонки, слегка наклоняли головы, приветствуя знакомых, так же, как и они, упражнявшихся в этом благородном искусстве каждый четверг во второй половине дня. Это было время обедов из пяти перемен блюд и вечеринок с картами, время, когда у одних целое утро тратилось на то, чтобы подобрать материю на платье, а у других целая жизнь проходила за плитой в темной кухне. Наш президент тогда носил не форму, а сюртук. Я увидела его как-то раз – дородный плешивый джентльмен вылезал из автомобиля, держа в руках свой цилиндр, – и с юношеской непосредственностью воскликнула: «Смотрите, это же Pelado!²» А он повернулся и – ужасно меня смутив – отвесил мне изящный маленький поклон.

Двадцатью годами позже я ехала с другом по Авенида Альвеар; притормозив в пробке, он вдруг толкнул меня локтем: «Смотри, в том автомобиле – Перон». Я наклонилась вперед, чтобы разглядеть плотного привлекательного человека в белом кителе, и недоверчиво покачала головой, а всенародно избранный президент, заметив мои сомнения, добродушно усмехнулся, кивнул и выразительно постучал себя по груди. Между этими двумя жестами – поклоном и улыбкой, между цилиндром и кителем промелькнула целая эпоха.

В тридцатые годы, когда в один прекрасный вечер правительство было арестовано, мы скорее удивились, чем встревожились, поскольку считали Аргентину таким же благополучным государством, как Англия в дни Гладстона. Нас совершенно не смущало то, что в более мелких странах Латинской Америки революции стали частью политической жизни. А новое десятилетие, похоже, окончательно убедило нас в том, что мы живем в респектабельной, процветаю-

¹ Президент Иполито Иригойен. (Здесь и далее примеч. автора обозначены звездочкой.)

² Президента Альвеара прозвали *Pelado*, или Лысый. Его друга Иригойена называли *Peludo* – Волосатик.

щей и спокойной стране – это было десятилетие экономического прогресса, новых квартир с кухнями, сверкающими электрическим оборудованием, вечеринок с коктейлями и бриджа, и в обществе больше ворчали по поводу прислуги, которая «забыла, где ее место», нежели из-за посягательств правительства на идеалы свободы. Станным образом, наш президент³ сам был первым и наиболее рьяным поборником гражданских свобод; и город испытал подобие страха, когда поползли слухи, что его держат в заключении, что его отравили. Однажды я проходила мимо дома, где умирал тучный и почти слепой человек, и при моем приближении охранники выступили вперед и без церемоний объяснили, что мне следует перейти на другую сторону улицы.

А потом настало время, когда конная полиция патрулировала безлюдные проспекты, и мы просыпались ночью от топота копыт, а иной раз видели толпы, которые в сумерках лавиной катились к Калье Флорида, теснимые грузовиками с вооруженными людьми. И так, практически без насилия, мы, оставаясь гражданами богатой и мирной страны, оказались под игом диктатуры.

Я покинула Буэнос-Айрес почти сразу после того, как Перона в первый раз избрали президентом, и вернулась туда уже в 1951 году. Старый, неторопливый уклад жизни безвозвратно ушел в прошлое, как и повсюду в мире, и на первый взгляд город изменился к лучшему; чуть ли не в каждом бедном квартале мрачные бараки теснили строящиеся новые дома, а центральные проспекты украсились монументальными правительственными зданиями. Цветочные лавки на углах, как и раньше, пестрели всевозможными экзотическими красками, а на улицах все еще предлагали букеты роз и гортензий – всего за несколько центов. По вечерам Калье Флорида, которую закрывали для движения машин, была полна людей, словно танцплощадка в *boite*⁴, и в этой разноязыкой толпе витал дух довольства и благополучия. Образ жизни, казалось, не изменился, лишь ритм ее стал стремительнее – интересы людей по-прежнему вращались вокруг нарядов, вечеринок с коктейлями и уик-эндов в загородном доме или в *estancia*⁵; говорили все больше о растущих ценах, о том, как быстро сколотить состояние, о правилах игры в гольф и о дефиците сливочного масла, а еще о добрых старых временах, когда кухарке платили пятнадцать долларов в неделю и она при этом брала на себя всю стирку; но было заметно, что люди стараются перевести разговор на бытовые темы, чтобы скрыть свою озабоченность. И только мелкие детали выдавали кроющийся за этим внешним легкомыслием постоянный страх: палец, прижатый к губам и кивок в сторону шофера такси, сидящего спиной к пассажирам, красные кресты, намалеванные на дверях, и струящие свет рекламные щиты в городе, по ночам почти полностью погруженном во тьму, а на них – два имени, которые не полагается произносить вслух. Все это принадлежало другой жизни, жизни, полной тайного ужаса, затрагивавшей всех нас, поскольку не нашлось бы человека, у которого кто-нибудь из знакомых не был бы невинно арестован и который чувствовал бы себя в безопасности. Хотя в гуще социальной и деловой жизни эта угроза присутствовала лишь в качестве фантазии, она непосредственно коснулась только некоторых, остальным же она казалась каким-то нелепым отклонением от реальности бизнеса, баров и клубов. Но боялись все, и это проявлялось в настойчивости, с которой беседа – не для чужих ушей, но зачастую весьма неосторожно – сводилась к слухам о том, что готовятся беспорядки, или что приближается бунт, или к сплетням о ней. Да, за всеми этими страхами стояли мысли о ней, поскольку она стала символом нестабильности и опасности, пришедших в жизнь, и множество людей связывали происходящее с ней тем больше, чем больше они пытались преуменьшить ее влияние и власть. Только те, кто составлял активную политическую

³ Президент Роберто М. Ортис.

⁴ Кабачок (фр.). (Здесь и далее примеч. ред. обозначены цифрами.)

⁵ Имение, поместье (исп.).

оппозицию режиму, могли говорить о ней сдержанно и с достоинством, если они вообще о ней говорили.

В первый раз я увидела ее в самом расцвете ее красоты. Это было на гала-представлении в «Колон-опера», где я стояла в толпе, за двойным рядом военных, вытянувшихся по обеим сторонам лестницы. Толпа состояла в основном из секретарш и продавщиц, хотя попадались и семейные пары; все они ждали, и на их лицах было написано не столько рвение, сколько алчность. Не слышно было даже упоминания ее имени, никаких разговоров или шуточек, каких можно ожидать на подобном сборище; среди всех этих людей не чувствовалось ни единодушия, ни дружелюбия. Наконец по толпе прокатился ропот, потом послышались повелительные окрики военных, и на усталых коврах ступеньках появилась она: тоненькая, светловолосая, темноглазая женщина пролетела мимо нас с головокружительной быстротой, ее развевающееся платье и шелковая накидка были розовыми с отделкой по краю золотом и снова розовым – только более глубокого цвета. Она задержалась на мгновение, чтобы одарить улыбкой тех и этих, затем снова прибавила шаг. Президент и его министры следовали за ней по пятам.

Как-то вечером я наткнулась на группу людей на центральной улице. Полицейские сновали вокруг и проверяли у всех документы. Вдоль тротуара выстроились патрульные машины, а на балконах над ними электрики устанавливали прожекторы, освещавшие вход в здание напротив, увешанное портретами Перона и Перонситы с его пиджаком в руках. Собравшиеся были в основном женщины из бедноты: прислуга из близлежащих многоквартирных домов, пожилая крестьянка, укутанная в шаль до подбородка, мускулистая девушка-работница, с ног до головы одетая в черное, с лицом средневековой фанатички; несколько продавщиц, подбоченившись, высовывались из дверей своих магазинчиков. И снова никто не называл имени; вообще, не было никаких разговоров до тех пор, пока одна молодая девушка с приятным и открытым лицом не спросила громко, что здесь сейчас будет. Никто не ответил ей, и мне пришлось объяснить, что мы хотим увидеть президента и его жену, которые каждую неделю приезжают в школу, размещающуюся в этом здании, чтобы сказать речь юным перонистам. «Ха, – бросила она. – В моей стране такой чепухой не занимаются. Мы можем увидеть своего президента на пляже или в бассейне в любой день, когда пожелаем». В толпе произошло едва заметное движение, словно люди, окружавшие нас, все как один попытались отодвинуться как можно дальше. «В вашей стране?» – переспросила я. «В Уругвае, – ответила девушка, и в ее голосе зазвучали воинственные нотки. – У нас есть то, чего нет здесь, в Буэнос-Айресе, – свобода!» Это был уже неприкрытый вызов, но никто ей не ответил. Она рассмеялась, пожала плечами и ушла, а толпа хранила молчание, и каждый избегал смотреть в глаза другому.

Наконец у освещенного прожекторами входа резко затормозил джип, из него выскочили двое молодых людей. Они вполне могли сойти за близнецов – с одинаковыми, подбитыми ватой плечами и набриолиненными черными волосами. Один нес букет лилий, другой – вазу с розами и блюдо сладкого горошка, они прошествовали в школу с озабоченной поспешностью любителей, готовящих сцену для профессиональных актеров. Прибыл дополнительный наряд полиции и принялся оттеснять толпу еще дальше назад; пожилая крестьянка отказывалась двигаться до тех пор, пока они не подхватили ее под руки и не оттолкнули. Потом подъехали два автомобиля, из одного из них вышла Эва в окружении мужчин. У залитого светом входа она на минутку задержалась, послала толпе свою сияющую улыбку и исчезла, сопровождаемая яростными аплодисментами и – пожилой женщиной, которая, увернувшись от полиции, отчаянно рванулась за ней, но ее схватили раньше, чем она успела добежать до дверей. Старуху тут же увели.

Всякий раз, когда я видела Эву, повторялось одно и то же: немая толпа, которая, даже поклоняясь ей, похоже, все равно боялась произносить вслух ее имя – разве что по команде и хором. Хотя имя это вместе с именем Перона было начертано по трафарету на каждой стене, она улыбалась с портретов в любом сколько-нибудь официальном помещении, во всякой ком-

нате на всякой железнодорожной станции, на каждой почте и в каждой школе, в магазинах и конторах, она неуловимо и неумолимо присутствовала везде, и мысли о ней неотступно преследовали всех жителей города.

Глава 1

Я – женщина из народа...

Э.П.

В гостиных и кафе Буэнос-Айреса в то время циркулировало такое количество скандальных слухов о Марии Эве Дуарте де Перон и ее жизни, что жизнь эта приняла расплывчатые и туманные очертания мифа еще до того, как пролетела хотя бы ее половина. Никто – и без сомнения, ни единая женщина в истории Южной Америки – не вызывал такого количества споров и разногласий, не возбуждал такой ненависти и такого фанатичного обожания, как она. Одного упоминания ее имени было достаточно, чтобы разбудить самые бурные чувства, так что говорить о ней беспристрастно не представлялось возможным; те, кто лучше всех знал ее, столько потеряли или приобрели в результате знакомства с нею, что не могли судить объективно, те, кто превозносил ее до небес, делали это с таким чрезмерным раболепием, что не столько убеждали собеседника, сколько вызывали у него легкую тошноту; те, кто критиковал ее, даже отрицая свою предвзятость, говорили с такой страстной ненавистью и обвиняли ее в столь многих извращениях, что все их речи начинали звучать сомнительно. И ко всем этим чувствам – будь то преданность или непримиримая вражда – примешивался страх, который, разумеется, по большей части и являлся причиной того и другого. Нельзя было задать вопрос или ответить на него, не бросив мимолетный взгляд через плечо, не посмотрев, не стоит ли кто за спиной. Ее могли восхвалять при скоплении народа или чернить в частной беседе, но любая серьезная попытка понять ее характер и поступки в одно мгновение запускала дьявольский механизм страха; те, кто осуждал ее, не без оснований боялись, что даже доверенный собеседник может разгласить сведения и тем самым невольно навлечет на них беду; сторонники же не допускали даже самой слабой критики, считая, что малейший недостаток энтузиазма может быть воспринят как *desacato*⁶, которое вполне уместно наказать тремя годами тюрьмы.

Сама Эва Перон ничего не делала для того, чтобы рассеять облака слухов и вымыслов, окутывающих ее имя. Она запретила любое упоминание о своем прошлом, кроме разве того факта, что она была низкого происхождения, и уничтожала все документы и свидетельства, которые только попадали ей в руки, а в Аргентине мало что находилось вне пределов досягаемости этих жадных белых ручек. Казалось, она пыталась заставить всех поверить, будто она, сияющая словно Феникс, восстала из пепла революции 1945 года, чтобы сразу сделаться женой Хуана Доминго Перона. И тот образ, который она представляла публике, будучи в расцвете женственности, очаровательный образ Леди Щедрости, посвятившей свою жизнь униженному народу, ни на йоту не ближе к истине, чем самые непристойные сплетни, которые в огромном количестве рождались вокруг нее.

Истинную жизнь Эвы Перон скрывали жадность и ненависть, тщеславие и страх, поэтому любой, кто берется теперь писать о ней, чувствует необходимость принести свои извинения – но не героине «биографии», которой теперь уже безразличны даже самые ложные толкования, но читателям, которые, возможно, рассчитывали найти в этой книге документальные свидетельства и четкое изложение событий. Но такая биография, если она вообще будет написана, появится лишь через много лет, когда позабудутся яростная ненависть и звуки фанфар, и только в одном можно не сомневаться: что эта история окажется, скорей всего, еще более поразительной, чем все то, что мы знаем сейчас.

⁶ Неуважение (исп.).

Мария Эва Дуарте родилась 17 мая 1919 года в Лос-Толдос, маленьком пуэбло в провинции Буэнос-Айрес, примерно в двух сотнях миль от столицы. Человек, никогда не видевший такого пуэбло, не может себе представить, насколько тоскливы эти места. Пуэбло подобны еще не застывшему гипсовому слепку на плоской деревянной тарелке, их маленькие грязные домишки карабкаются к небу из грязи и пыли, из которой и были построены. Пыль лежит всюду – слоем толщиной в фут она покрывает немошеную дорогу, на которой проходящее стадо вздымает белые пыльные клубы. Еще некоторое время она столбом стоит в жарком воздухе, затем вновь медленно опускается на землю. Пыль просачивается в крошечные домишки, чьи розовые и желтые ставни не в силах сдержать ее серовато-коричневые облака; песок попадает в кушанья и забивается в складки одежды, скрипит на коже и на зубах, и самом сердце человека. Пыль и тишина царят повсюду, мертвое спокойствие нарушают лишь дворняги, перебегающие дорогу, чтобы почесать бок о железную лопасть ветряного двигателя, который тихонько позвякивает, ворочаясь на ветру. Мухи жужжат во дворе над выброшенной требухой, порой мужские голоса на мгновение, в порыве секундного гнева зазвучат громче или же женщина выберит плачущего ребенка.

Небо и земля огромны. Пуэбло окружают обширные, богатые поля – от семи до одиннадцати футов самого лучшего чернозема, где ветер радостно перешептывается с молодыми побегами кукурузы или поднимает тучи желтых бабочек с полей цветущей люцерны. Печники выют гнезда на столбах ограды, а совсем мелкие пичужки стараются удержать равновесие на верхних рядах колючей проволоки. И надо всем этим, словно перевернутая чаша, – величавый купол неба, по сравнению с которым пуэбло да и сам человек кажутся размером с насекомое. По ночам он сверкает звездами, которые здесь ярче, чем на севере, днем по большей части обретает ясную, невыразимую голубизну – если чернильно-черные грозовые облака не двинутся от горизонта и дождь и град не пронесутся галопом по пампасам, чтобы сбить пыль и превратить ее в непролазную грязь, которая в те дни, когда дороги еще были грунтовыми, напрочь преграждала путь от одного пуэбло до другого.

Именно здесь, где человек и его дела кажутся такими ничтожными, а земля и небо такими большими, выросла мать Эвы, Хуана Ибарген: хорошенькая, несколько вульгарная и веселая девушка, в жилах которой текла кровь басков. Если Хуана и получила какое-то образование, то разве что начальное, поскольку семья ее жила бедно. Говорили, что ее отец был кучером: возможно, он правил одной из тех, похожих на катафалк, повозок, которые подвозили богатых землевладельцев от станции до *estancias*, – в те дни, когда автомобилей еще не изобрели. В пуэбло, наподобие Лос-Толдос, у девушки, желавшей устроить свою жизнь, имелось всего несколько возможностей: если у нее было хоть какое-то приданое, она могла надеяться удачно выйти замуж, те же, кто претендовал на образованность, пытались пойти в школьные учительницы или работницами на почту. Но если у девушки не было ни того ни другого и при этом она желала сохранить хотя бы видимость приличия, ей оставалось только наняться служанкой в дом какого-нибудь богатея по соседству, где, даже если на нее не клевал сам хозяин, у нее все же оставался шанс приглянуться одному из его сыновей или работников. А затем она могла выйти замуж за какого-нибудь пеона, которому нужна была бы женщина, чтобы готовить еду и помогать ему в поле. Девочка старше четырнадцати лет, сохранившая невинность, являла собой забавное исключение, и слишком многие оканчивали свою карьеру проститутками на грязных ранчо, ютившихся на окраине пуэбло.

Однако для хорошенькой девушки оставался и еще один путь: найти какого-нибудь женатого мужчину и понравиться ему настолько, чтобы он стал обеспечивать ее – разумеется, не в ущерб собственной семье. Это, конечно, не избавляло ее от необходимости брать деньги с обычных «покупателей», но давало некое временное ощущение стабильности и даже нечто вроде положения в обществе – в зависимости от состоятельности и статуса «спонсора»; а ино-

гда подобная связь перерастала в стабильные взаимоотношения, почти столь же респектабельные, как и официальный брак.

Хуана Ибарген нашла себе покровителя в лице Хуана Дуарте, человека среднего достатка, уроженца городка Чивилкой, находившегося неподалеку, уже успевшего обзавестись там семьей. В той двойной жизни, которую он вел, не было ничего необычного – такое встречалось сплошь и рядом. Его поступок удивил бы разве что самых высокомерных пуритан из числа его знакомых, и негодовать по этому поводу могли если только в его законной семье в Чивилкой. Хранить верность жене считалось в то время чудачеством, а Хуан Дуарте был человеком консервативного склада.

Его отношения с доньей Хуаной, как ее из вежливости стали называть, продолжались больше двенадцати лет и принесли пятерых детей, из которых Мария Эва была самой младшей. Судя по всему, Хуан Дуарте чувствовал некую ответственность за свой незаконный выводок: если он и не жил с ними, то, во всяком случае, частенько навещал. Они без стеснения назывались его фамилией, а крестный Эвы был его добрым другом.

Для маленькой Эвы первым «выходом в свет» стали похороны отца. Когда Хуан Дуарте почил с миром, его семья в Чивилкой, с вполне понятным жестокосердием, ответила отказом на просьбу доньи Хуаны позволить ей с детьми проводить его в последний путь. В Аргентине похороны считаются делом семьи, и присутствие доньи Хуаны означало бы формальное признание ее отношений с умершим, к чему она так жадно стремилась и чего сеньора де Дуарте так же сильно желала избежать. Донья Хуана обратилась к крестному Эвы, и после долгих переговоров удалось достичь компромисса – детям доньи Хуаны, но не ей самой, разрешили присутствовать на церемонии.

Элизе, старшей в семье, исполнилось в то время одиннадцать, Бланке – девять, единственному мальчику, Хуанито, – пять, Арминде – три, а маленькой Эве – два года. Она была достаточно мала, чтобы восседать на руках у крестного, но возможно, и достаточно взрослой, чтобы почувствовать атмосферу, которая царила в более зажиточной и развитой семье ее *parito*, и ощутить их враждебность. Даже для двухлетнего ребенка большое потрясение узнать, что его отец принадлежит другой семье.

Девочек, и даже самую младшую, с утра обрядили в мрачные черные блузы и длинные белые чулки, а также, наверное, и в новые черные туфли, а Хуанито на рукав пришили тесьму из черного крепа – этими формальностями не пренебрегали даже в самых бедных и скверных семьях. Эва была маленьким, тихим ребенком со смуглым личиком и густыми, темными волосами. Утвердившись на руках крестного, она получила преимущество перед своими братьями и сестрами: она могла с высоты рассматривать головы и плечи более желанных гостей, собравшихся у гроба ее отца, и взирать на своих сводных сестер с неумолимой детской враждебностью в темных глазах.

Первые годы после смерти Хуана Дуарте донья Хуана и ее дети терпели жестокую нужду. Ей нечем было добывать себе средства к существованию, кроме как найти нового покровителя для себя и своих детей. Но донья Хуана знала, как угождать мужчинам, вела себя умно и не останавливалась ни перед чем, так что ей в конце концов удалось поймать в свои сети одного увлеченного ею итальянца, хозяина маленького ресторана – скорее закусочной – в Хунине, городке, расположенном в сорока с лишним милях от Пуэбло. И хотя с финансовой точки зрения их жизнь не слишком улучшилась – чтобы свести концы с концами, донье Хуане приходилось брать постояльцев, детям, переехавшим в Хунин, казалось, что они перебрались чуть ли не в столицу. Там были двухэтажные здания, вокзал и гостиница, мощенные булыжником улицы и площади с парой скамеек, несколько магазинов, торговавших миткалем, хлопком и дешевым шелком кричащих расцветок; некоторые женщины вместо башмаков с веревочными подошвами – обычной обувью в деревне – носили туфли на высоком каблуке; и не все мужчины были

одеты в объемистые bombachas⁷, удобные для верховой езды, – кое-кто ходил в строгих костюмах даже летом. Правда, пиджаки заменяли легкие куртки, покроем напоминавшие пижаму. Один или два раза в неделю в грязном зальчике показывали кино, и по мостовым вместе с высокими двуколками, которые гремели колесами, взбивая пыль между камнями, грохотали «форды» и «шевроле», привозившие почту для жителей estancia, и обдавали тротуары и дома целыми тучами пыли.

Дом, в котором жили Дуарте, был типичным для аргентинских городов – на самом деле позже они перебрались в другой, точную копию первого, – выстроенный в форме буквы «F», верхняя часть которого представляла собой фасад дома с двумя окнами, балконами и узкой парадной дверью, выходившей прямо на тротуар. Ряд спален, располагавшихся позади «залы», окна которой выходили на фасад, окон не имели, поскольку обращены были к задней части дома, но зато в каждой было по три двери: две из них вели в соседние комнаты, а еще одна, с деревянными филенчатыми створками, открывалась в патио, вокруг которого и размещались комнаты. С другой стороны патио закрывала стена соседнего дома, а в середине его разделяла надвое большая комната, которая предположительно должна была служить столовой и отделять переднюю часть дома от кухни на задах. Поскольку донье Хуане приходилось сдавать передние комнаты постояльцам, она с детьми, вероятнее всего, ютилась в «столовой» и в задних комнатах. Наверное, посреди патио росло в кадках несколько деревьев, а в хозяйской части был разбит неизменный маленький садик с лимонным деревом и железной вышкой ветряного двигателя, который снабжал дом водой. Хунин строили согласно плану, единому для всех испанских колониальных городков, и этот план определил надолго облик стандартного аргентинского дома. Дома эти были неудобны – чтобы попасть из одной комнаты в другую, требовалось пройти через все спальни в доме либо через патио – и не оставляли никакой возможности для уединения.

Хотя Дуарте, судя по всему, большую часть времени жили бедно, не похоже, чтобы они когда-либо голодали. В те дни в деревне фунт вырезки стоил меньше десяти центов – мясо не залеживалось, потому что бычка забивали, как только его приводили к мяснику, и нарубленные куски продавали парными. Да, дети не голодали, но их еда была такой же однообразной и такой же неаппетитной, как и вся остальная их жизнь. Основным блюдом служило *puchero*, похлебка из мяса, овощей и риса, которая сначала готовилась в качестве супа, а затем подавалась как второе. Готовились также огромные кастрюли итальянских макарон, благодаря которым весьма прожорливая семья из шести человек могла прокормиться за двадцать центов и, даже для самых младших, всегда имелось некоторое количество красного вина по десять или пятнадцать центов за литр. Дети были сыты, но о сбалансированном питании в те времена слышали разве что несколько матерей в Аргентине, и, разумеется, донья Хуана не входила в их число. К молоку относились с подозрением – и не без оснований, и если у ребенка болел живот, ему давали выпить чаю. Куда сложнее было донье Хуане обеспечить своих детей белыми блузами, обычной формой для всех аргентинских школьников, как девочек, так и мальчиков, зачастую красиво прикрывавших те старые лохмотья, которые самые бедные дети носили вместо белья, кожаными туфлями, надевавшимися время от времени вместо дешевых сандалий – чтобы показать, что это не дети какого-нибудь пеона, а также большими белыми бантами, которыми девочки украшали свои головы в праздники.

Их дом был шумным. Донья Хуана пронзительно кричала на дочерей; ее никто никогда не учил сдерживать свой темперамент или язык, а голос аргентинской женщины, как известно, – самый пронзительный в мире. Хуанито, будучи мужчиной, или почти мужчиной, считал, что его мать и сестры – всецело в его распоряжении; в основном он шатался по улицам, являлся домой за полночь и отказывался объяснять причину своих исчезновений. Никто не знал ни

⁷ Свободные брюки из хлопка (*arg.*).

порядка, ни режима – младшим детям позволялось сидеть вместе со взрослыми, пока тем не вздумается отправиться спать, и быть свидетелями любых сцен, происходивших между доньей Хуаной и ее покровителем или другими постояльцами, либо слушать по сотому разу пророчества доньи Хуаны относительно будущего своей старшей дочери и ее друзей, когда та, по ее словам, выводила ее из себя. Разумеется, Эва быстро уяснила себе все интимные подробности жизни матери – незаметная маленькая девочка, наострив ушки, слушала все, что только можно, и все подмечала своими зоркими глазками, но привлекала к себе внимание семьи лишь иногда припадками, по их мнению, бессмысленной ярости.

По воскресеньям или по вечерам, когда постояльцы собирались дома, начиналась непонятная возня, мать и дочери всячески выказывали друг другу заботу и внимание, в присутствии мужчин, но те не особенно в это верили, поскольку частенько бывали свидетелями их перебранок.

Но кроме практики в искусстве оболыщения своего исконного врага, мужчины, для девочек не находилось в городе никаких развлечений. В школе они заучивали учебники наизусть, повторяя фразы за учителем распевным хором; в Хунине не было ни книжного магазина, ни библиотеки; в окрестностях – никаких местечек для пикника, только прямая пыльная дорога, уходящая за горизонт, которую то здесь, то там преграждал труп лошади или коровы, оставленный на съедение червям и муравьям. Девочки могли прогуляться на вокзал – посмотреть на прибытие поезда из Буэнос-Айреса; и разрушающая душу скука жизни в пуэбло получала живое свидетельство в этих маленьких группках полусонных мужчин и женщин, день за днем собиравшихся здесь, чтобы посмотреть, как поезд промчится мимо. Или же, летними вечерами, взявшись за руки, шататься с подружками – по шесть человек в ряд – круг за кругом по центральной площади. Этот вечерний променад имел свои традиции, которых не нарушали даже те, кто дома не получил никакого понятия о дисциплине – вроде девочек Дуарте. Девушки ходили по кругу в одном направлении, а молодые люди, меньшими группками, – им навстречу. Что девушки замечали молодых людей, можно было понять только по болтовне и хихиканью, всякий раз, когда они миновали очередную группу. Молодые люди адресовали свои замечания друг другу, но не встречным. Если внимание их привлекала девушка, одетая в зеленое, в группе раздавалось: «Какой сладкой она будет... когда созреет!» Или же, если кто-то держался с вызовом: «Хороша, как роза, но я боюсь шипов!» Шутки, которые от долгого употребления и звучали соответствующе.

Теперь уже и младшие дети ходили учиться. Элиза, самая старшая, единственная окончила среднюю школу. Она нашла себе работу на почте и ухажера из числа постояльцев матери. Друг доньи Хуаны переехал в Буэнос-Айрес, чтобы попытать счастья в безвестном ресторанчике, расположенном всего в паре кварталов от Каса Росада – розового Дома правительства, на балкон которого самая младшая из девочек Дуарте в один прекрасный день ступила под аплодисменты народа. Похоже, донья Хуана умела убеждать мужчин в своей добропорядочности, поскольку итальянец позволил ей оставаться в принадлежащем ему доме и время от времени возвращался, чтобы навестить *la vieja*⁸, как он, с оттенком неодобрения, ее называл. А поскольку донья Хуана к тому времени имела в Хунине уже достаточно приятелей, то его отсутствие не казалось ей такой уж великой потерей.

Горожане в большинстве своем были слишком просты и сами слишком близко знакомы с нищетой и проблемами внебрачных детей, чтобы задирать носы перед семьей Дуарте. Конечно же находились и те, кто не позволял своим дочерям водиться с дочками доньи Хуаны; что касается сыновей, то тут матери оставалось только молиться; и в школе наверняка некоторые ученицы их сторонились, ведь не существует людей, более чувствительных к внешней респек-

⁸ Старушка (исп.).

табельности, чем подростки. Но вряд ли у них возникали серьезные проблемы из-за их незаконнорожденности. Для сентиментального аргентинца дитя – дар Божий вне зависимости от того, как он получен, и примерно двадцать восемь процентов младенцев в Аргентине рождено вне брака.

Эва не пошла дальше начальных классов, то ли потому, что семья терпела нужду, то ли из-за того, что она не отличалась крепким здоровьем. Надо сказать, что Эва и не выказывала особой склонности к школьной премудрости, но всегда с радостью принимала посильное, но заметное участие в каждом маленьком школьном празднике. Она также любила патристические демонстрации в дни национальных торжеств, когда девочки, все как одна одетые в накрахмаленные белые блузки, с похожими на бабочек белыми бантами на голове, с розетками голубых и белых цветов на груди, маршировали туда-сюда, фальшиво и пронзительно распевая куплеты во славу любимой родины. Именно в такие дни самовлюбленный национализм вбивался в головы аргентинских школьников, и, может быть, для того, чтобы как-то компенсировать оторванность от остального мира, детей учили, что народ их занимает на земле такое важное центральное место, какое разве что солнце занимает на небе. Они пели:

И свободные люди мира отвечают:
Хайль! – великому народу Аргентины!

И все же настоящую школу Эва проходила дома, и ее юношеские надежды были вскормлены грубой и жесткой пищей. С самого детства ее учили тому, что жизнь – это борьба за выживание, в которой победы добиваются те, кто не отступает и не останавливается ни перед чем, что она может урвать свое и что мужчина – это естественный враг или же дурак, которого умная девушка должна использовать. Ей ничего не было известно о нежности, которую люди противоположного пола испытывают друг к другу, еще меньше она знала о любви или хотя бы о доверии. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной представлялись ей постоянной битвой, в которой кому-то суждено стать жертвой и обманутой стороной, поскольку в основе их связи плутовство и обман. Мудрая женщина симулирует безразличие или страсть в зависимости от того, что больше подходит для ее целей; глупая девушка, которая позволяет чувствам взять верх и проявляет мягкосердечие, остается в конце концов в роли жертвы – без мужчины и с вереницей детей.

Эва хорошо усвоила этот урок, хотя она и не была «акселераткой»: тихая, худенькая, неприметная, с длинными темными волосами и слабой, почти болезненной комплекции. В ней не замечалось ничего особенного, исключая разве ее нервность и вспышки гнева – единственное, что выдавало томившие ее мечты о славе. Эва ничего не говорила о своих амбициях, поскольку не выносила насмешек, но ее поддерживала уверенность, что в один прекрасный день она станет великой, и богатой, и красивой. В книге⁹, опубликованной в конце 1951 года, в которой она претендует на то, чтобы изложить свое жизненное кредо, Эва утверждает, что в раннем детстве испытала ужас, открыв для себя, что большинство людей в мире бедны, и что ею овладело сильнейшее негодование при мысли о несправедливости нищеты. В этом признании есть доля искренности; но похоже, что ее в основном возмущала несправедливость, от которой она страдала сама: потрепанные одежды, которые ее заставляли носить, и дрянной домишко, в котором все они жили, и слишком близкое знакомство с друзьями своей матери. Чтобы так страстно и отчаянно мечтать бежать, она должна была ненавидеть всей душой свою жизнь, свою семью и даже себя самое.

⁹ Эва Перон. Смысл моей жизни (La Razon de mi Vida).

Нельзя понять во всей полноте прошлое Эвы Дуарте, не осознав той глубочайшей пропасти, которая отделяла людей пуэбло – будь то деревушка вроде Лос-Толдос или скромный городок типа Хунина – от окружающей их провинциальной жизни. Многие из таких пуэбло были подобны миниатюрным полутрущобам, выросшим посреди богатства сельскохозяйственных районов, едва ли не самых процветающих в мире. Все вокруг дышало благополучием и покоем: золотые поля кукурузы, медленно бредущие по равнине стада племенных быков, потрясающие, мускулистые лошади английских пород, старые дома в *estancias* – дома с высокими потолками, с окнами, прикрытыми ставнями от летнего зноя, тонущие в зарослях мимозы, эвкалиптов и акаций, посаженных во времена дедов и прадедов, – все это принадлежало земельной аристократии Аргентины, олигархам, впоследствии ставшим главными врагами Эвы, которых она преследовала с особой страстью. Но только мизерная часть того богатства, которым обладали *estancias*, попадала в пуэбло: между людьми *estancias* и их бедными соседями не существовало практически никакой связи. Даже самые маленькие *estancias* жили как независимые самостоятельные общины, а те, что были больше – некоторые достигали двадцати пяти тысяч акров, – имели даже свои церкви, школы и больницы. Владельцы *estancias* – а порой одна семья могла владеть чуть ли не дюжиной гигантских поместий – тратили деньги и проводили свой досуг в Париже, а своих сыновей отправляли учиться в Харроу или Винчестер. Порой они приезжали, чтобы пожить какое-то время в своих великолепных фамильных особняках в Буэнос-Айресе, и тогда их обожаемых накрахмаленных детишек можно было видеть степенно играющими в парке Палермо под присмотром английской няни или французской гувернантки. Их семьи были так тесно связаны друг с другом, а поместья столь обширны, что они постепенно стали смотреть на свою страну как на одно большое фамильное поместье, которым следует управлять – пусть даже добросовестно и справедливо, но всегда к своей собственной пользе и удобству. Они считали людей, населяющих их земли, своей собственностью и были настолько убеждены в своем несокрушимом превосходстве над другими, что походили в этом на мастодонтов.

За весь год землевладельцы соприкасались с жителями пуэбло один раз – на Рождество, когда вся семья прибывала на поезде, чтобы провести лето в поместье. Перед их приездом в *estancia* закипала жизнь и начиналась бурная деятельность; как правило, нанималось несколько новых служанок, потому что эти глупые девушки вечно оказывались беременными или же какую-нибудь из них ловили на краже новых платков и управляющему приходилось искать новую прислугу, из числа тех людей, что работали в *estancia*, поскольку девушки из пуэбло не считались достойными доверия и были «себе на уме». В поместье чистили лошадей, красили ограды, проветривали комнаты, и случалось, мажордом и его жена отправлялись в «форде» или «шевроле» в пуэбло, поскольку что-либо из нужных вещей, как правило, забывали заказать в городе: в близлежащем городке покупалось лишь то, о чем в хлопотах позабыли, или то, что понадобилось по ходу дела. Постепенно поездом прибывали сундуки и чемоданы, потом наемная прислуга, а затем, наконец, глава семьи, *patron*¹⁰, непременно наряженный в мешковатые белые бриджи – дорогую имитацию сельской одежды – и глядящий на все вокруг с высокомерным снисхождением. С ним приезжала сеньора, а также куча детишек, тетушек, кузин и гувернанток.

Маленькая Эва, наверное, частенько бывала свидетельницей подобных «вторжений», поскольку прибытие и отправление поезда считалось главным событием каждого дня монотонной городской жизни, событием, которое девочки Дуарте старались не пропустить. Видимо, она жадно тарасилась на происходящее, подобно тому, как дети глазят на зверей в зоопарке, испытывая скорее жестокий стыд, нежели вражду к маленьким «олигархам» в накрахмаленных костюмчиках и платьях, неизменно мявщихся, несмотря на неустанные заботы гувернантки, усталым и капризничающим после долгого путешествия в душном поезде. Но богатые

¹⁰ Хозяин (исп.).

детки, должно быть, проявляли к личности Эвы не больше интереса, чем к дворняжкам, которых мажордом жестокими пинками прогонял с дороги, разумеется, без всякого сочувствия. Им куда больше нравился чистопородный фокстерьер, которого их отец привез из Англии на племя. Их учили, что порода – это все, и потому между детишками вроде Дуарте и ними существовало то же узаконенное неравенство, как между голодной коровой, умирающей на дороге, и откормленным молочным бычком голубых кровей, у которого есть собственный камердинер и шерсть которого завита в колечки для выступления на сельской ярмарке.

Patron и его сеньора частенько проявляли благосклонный интерес к семьям, работавшим в их поместьях; зачастую они являлись крестными каждого ребенка, родившегося там – в тех случаях, если patron и в самом деле не был его отцом. Но их благотворительность редко распространялась на пуэбло, с которым их связывала разве что железнодорожная станция и отделение почты. В крайнем случае какая-нибудь богатая престарелая вдова могла отремонтировать на свои деньги маленькую церковь – думая больше о собственной душе, нежели о душах тех, кто поклонялся в ней Богу, – или же сделать пожертвование начальной школе; но никого не заботило, чему учатся там дети и как они живут остальное время.

В Аргентине практически не было тех скромных, однако же вполне преуспевающих фермеров, которые приезжали бы в местный городок, чтобы сделать покупки раз или два в неделю и чье растущее богатство могло бы отразиться на благосостоянии города. Именно жены и дочери этих фермеров требовали, чтобы в городках появлялись магазины шелкового белья и модной одежды, вносящие свежую струю в жизнь провинциальных местечек. Пеоны с *estancias*, а также издольщики иногда приезжали со своими семьями в пуэбло, но в большинстве случаев они были слишком бедны, слишком старомодны и очень часто имели лишь временную работу – а этого было мало, чтобы приобрести уважение горожан; они, разинув рты, глазели на все, что мог предложить город, и не помышляли о том, чтобы требовать большего.

Кроме того, изоляции пуэбло способствовали громадные расстояния и немощные дороги, по которым после дождя нельзя было ни проехать, ни пройти. Только третья часть всех пуэбло была соединена друг с другом узкими полосами бетона, которые, подобно миниатюрным японским саженцам, зацветающим в воде, постепенно обрастали постоянными дворами, придорожными закусочными и маленькими деревенскими домиками. В двадцатые годы единственным надежным способом сообщения между столицей и другими городами и деревеньками являлась железная дорога. Но космополитическая культура столицы была бесконечно далека от людей пуэбло, которые считали себя истинными *criollo*¹¹, гордились своим национальным жизненным укладом и, в сущности, взирали на горожанина-европейца со старомодным, чуть ли не враждебным недоверием, словно на чужака. Они забывали или не сознавали, что даже карнавал, который они с таким «патриотическим» рвением устраивали в каждой деревушке, пришел к ним из Европы.

В Хунине, как и в любом другом пуэбло, карнавал был единственным неизменным развлечением в монотонном течении жизни и сам оказывался частью этой монотонности – со всей бессмысленной возней и старомодными шутками. Мальчишки надевали на себя маски и истязали уши старших писклявым фальцетом; юноши поливали вялыми струйками воды девушек, томящихся на балконах, которые в ответ осыпали их жидкими лентами серпантина или пригоршнями конфетти; или же какая-нибудь старушка, припомнив более оживленные карнавалыные времена своей молодости, выбегала на улицу с полным ведерком воды и окатывала кого-нибудь из прохожих, а затем, с веселым кудахтаньем, снова скрывалась в доме. По вечерам по мостовым проходили целые процессии, состоящие в основном из девичьих стоек; нет никаких сомнений, девочки Дуарте были среди них – наряженных в костюмы цветов или Коломбины и

¹¹ Креолы, потомки первых испанских и португальских поселенцев в Латинской Америке (иси.).

сопровождаемых молодыми людьми, которые, приодевшись в костюмы чертей или арлекинов, становились более развязными в своих комментариях.

Самыми настоящими *criollo* считались те добропорядочные граждане, которые появлялись на всеобщей попойке в образе прорицателя или колдуна, продающего травы, собранные на севере, и гарантирующего исцеление бесплодной жены или безнадежно влюбленной девицы, а также деревенские музыканты, заставлявшие женщин постарше подбирать нижние юбки, щелкать пальцами и кричать «Jota!» гитарам и аккордеонам.

И только случайно труппы актеров или музыкантов из Буэнос-Айреса проезжали через этот маленький городок, и ослепленные блеском глаза Эвы не замечали мишурного богатства их нарядов и нищеты представления.

Ей было уже пятнадцать, и, подобно многим своим сверстницам, она мечтала попасть на сцену. Одна из девушек из их городка отправилась «в город» и стала звездой на радио – или, во всяком случае, выходила в эфир. «В городе» звенели деньги, мужчины были богаты, а женщины носили великолепные наряды. Эва принялась отчаянно искать знакомств с каждой театральной труппой, приезжавшей в город; может быть, ее и вправду убеждали их громкие речи о триумфах в столице, а может быть, она смотрела на театр как на первую ступеньку по пути к богатству, но когда, наконец, в Хунин прибыл юный певец танго со своей гитарой и принялся ухаживать за ней, обещая работу на радио и бог знает что еще, она слушала его более чем благосклонно. Эве не было еще и шестнадцати, когда она сбежала с этим молодым человеком в Буэнос-Айрес, оставив в сердце матери разве что легкое сожаление. Даже если с той и с другой стороны и были пролиты какие-то слезы, донья Хуана, вероятно, испытала нечто вроде облегчения, поняв, что ее младшая и, очевидно, наименее цепкая из ее дочерей как-то пристроена. Ну а в душе Эвы не оставалось места ни для чего, кроме надежд и мечтаний.

Глава 2

Год за годом я хранила воспоминания о несправедливости, которые толкали меня к бунту, раздирали меня изнутри.

Э.П.

Эва Дуарте родилась в тот короткий период демократии, который последовал за принятием в 1912 году закона Саенса Пена, даровавшего Аргентине тайное голосование и – в первый раз за всю историю страны – возможность честных выборов. Иполито Иригойен, великий и трагический лидер радикалов, положил конец власти олигархии, которая более чем за восемьдесят лет «феодализма» выросла в богатейшую прослойку земельных монополистов. Всю свою жизнь Иригойен, в подполье и изгнании, готовил избирательную реформу. Привычка к конспирации осталась у него и после того, как он добился успеха: когда партийные делегаты явились к нему со слезами на глазах, чтобы предложить ему баллотироваться в президенты, он принял их поодиночке, в затемненной комнате. Он отклонил предложение и оставался в этом непоколебим, поскольку никогда не помышлял о личной власти или богатстве – до тех пор, пока соратники не пригрозили распустить партию. Против своей воли Иригойен согласился, но полностью игнорировал избирательную кампанию, более того, удалился в свою *estancia*. Когда же в 1916 году его избрали президентом, мужчины Буэнос-Айреса – они с гордостью называли себя *portenos*¹² – выпрягали лошадей из его кареты и бились за право везти ее, а женщины с балконов осыпали его цветами и благословениями. Ни Перон, ни Эва никогда не срывали подобной овации от толпы *portenos*.

Величие Иригойена заключалось в его идеализме и полнейшем альтруизме; трагедия его жизни уходила корнями в его мистицизм и наивность. Он ожидал, что его коллеги будут такими же бесребрениками, как и он сам, и свято верил в свою высшую миссию разрушения сил зла, которые притесняют трудящихся. Первые законы, изданные его правительством и облегчавшие участь рабочих, дали результат, но поскольку эти законы ослабили плотину, столь долгое время сдерживавшую горечь и негодование, страну захлестнула волна насилия, усугубленная пропагандой немецких агентов, которые надеялись тем самым прекратить поставки продовольствия союзникам. Начало правления Иригойена было отмечено забастовками, на многие недели парализовавшими транспортную систему по всей стране и превратившими Буэнос-Айрес в город закрытых ставен и пустынных улиц, поскольку ни один человек не осмеливался высунуться из дома при свете дня, опасаясь пули снайпера, а среди снайперов было немало городских повес, которые находили это времяпровождение более захватывающим, чем охоту на куропаток в *estancias* своих отцов. В одну неделю, которую впоследствии называли «Трагической», было убито более тысячи человек. Эва родилась в то время, когда люди труда принялись накачивать мускулы и осознавать их мощь.

Но к концу шестилетнего правления Иполито Иригойен, который скорее еще больше уверился в предназначенной ему божественной миссии, нежели утерял иллюзии насчет предполагаемой честности своих коллег, вновь воспользовался своим умением строить заговоры, чтобы навязать Радикальной партии собственного кандидата. До тех пор, пока Перон не изменил аргентинскую конституцию, ни один президент не мог продлить свою власть на следующий срок, однако же стало традицией, чтобы он называл кандидата, который мог сменить его на этом посту. Выбор Иригойена пал на Марсело Альвеара, его ближайшего друга и одного из лидеров Радикальной партии, который, как ожидал Иригойен, слушался бы его во всем до тех пор, пока он не вернулся бы к власти после выборов 1928 года. Но Марсело Альвеар не годился

¹² Портовый люд; простые горожане (*исп.*).

на роль марионетки; этакий «гражданин мира», он много путешествовал, был богат и, хотя и не отличался особым либерализмом – радикалы Аргентины едва ли либеральней английских консерваторов, – честно чтит конституцию. Он знал, что закон следует соблюдать, и соблюдал его сам. Под его руководством и благодаря послевоенному экономическому буму Аргентина наслаждалась порядком и процветанием, каких никогда не ведала раньше, не ведала и потом, и начала возвращать себе уважение других стран, потерянное за время правления Иригойена (похоже, последний, будучи пожилым человеком, хотел закрыться вместе со всей своей страной в темной комнате). Но дружбе между Иригойеном и Альвеаром пришел конец, и Радикальная партия пережила раскол, который имел поистине трагические последствия. После выборов 1928 года ожесточенный и постаревший Иригойен вернулся в Каса Росада, избранный огромным количеством голосов.

Иполито Иригойену исполнилось в то время семьдесят шесть, и он отнюдь не был тем человеком, который мог провести свою страну, такую же необъятную, как и ее природные богатства, через трудные годы всемирной экономической депрессии. Он одряхлел, все больше и больше закрывался от своих соратников и изолировал свою страну от остального мира. После отзыва посла Аргентины из Вашингтона страна в течение двух лет не посылала своих представителей ни на одну конференцию по вопросам международных отношений. Президент не доверял даже своим приближенным, документы горами скапливались на его столе, поскольку он настаивал на том, чтобы все их подписывать лично, и делал это только после того, как тщательно прочитывал их до последнего слова. В его приемных часах сидели министры, и чиновники, и правительственные подрядчики, не получающие зарплаты, – в ожидании аудиенции, которую вполне могли и не получить. Великий крестоносец превратился в неразумного старика, которого близкие скрывали от посторонних глаз, чтобы его рассеянность и болезненное пристрастие к женщинам не стали известны его врагам. Правительство Иригойена пало перед тем, как разразилась революция.

6 сентября 1930 года генерал Урибуру маршем провел свои войска от казарм в Кампо де Майо до города и без заметного сопротивления занял Каса Росада – большое здание в стиле рококо, грязно-розового цвета, расположенное задней стороной к реке, а фасадом выходящее на Пласа де Майо, где 25 мая 1810 года началась Революция. Оно стало своего рода символом для всех последующих революционеров, может быть потому, что стоит на месте старой крепости колониальных времен; в нем размещаются кабинет и прочие помещения президента, а также комнаты для правительственных банкетов и приемные.

Урибуру заявил, что эта акция была проведена в ответ на требования народа; но, хотя революция и вправду зрела, недовольство людей стало прикрытием для военного путча, хорошо спланированного заранее.

Толпа, выкрикивающая обвинения против человека, которого до этого боготворила, разрушила дом Иригойена, уничтожив бумаги и разломав мебель. Чуть раньше друзья отыскивали престарелого президента, больного и всеми покинутого, и перевезли его в безопасное место. Какое-то время его держали под стражей, а затем освободили, оставив доживать свои дни в самых стесненных обстоятельствах – с женой и еще двумя женщинами, которые не покинули его, – то были его родная дочь и его секретарша. Впрочем, смерть вернула ему изменчивые симпатии народа, и десятки тысяч человек съехались со всей страны, чтобы, повиснув на ветвях деревьев в парке, бросить прощальный взгляд на человека, который был поборником их прав. На узкой лестнице в доме, где он снимал квартиру, день и ночь толпились смиренные паломники, и полмиллиона плакальщиков заполнили улицы и балконы, чтобы проводить его гроб.

К тому времени страна уже поняла, что путч был шагом не к восстановлению гражданских свобод, а к установлению военной диктатуры. Урибуру проложил дорогу Перону. Поддержанный олигархией, которая хотела любой ценой вернуть рабочих к прежнему рабству, Ури-

буру отменил обещанные выборы, провозгласил по всей стране военное положение, упрятал Альвеара в тюрьму в Ушуайя и объявил фракцию Иригойена вне закона, тем самым отстранив ее от какого бы то ни было участия в правительстве. Однако Урибуру встретился с оппозицией в лице определенной части своих товарищей-военных, и, хотя он и пытался подкупить младших офицеров, оплачивая их огромные долги из правительственной казны, его принудили в ноябре 1931 года провести выборы. Радикальная партия, представлявшая единственную влиятельную оппозицию, переживала раскол: последователи Иригойена, которым все еще было запрещено занимать посты в правительстве, отказались участвовать в выборах; сторонники Альвеара, который все еще находился в ссылке на Юге, голосовали вместе с консерваторами и независимыми социалистами и избрали президентом Аргентины генерала Агустина Хусто.

Кое-кто может уже здесь различить тактику, которую в дальнейшем аргентинские военные использовали со все возрастающей и губительной эффективностью. Якобы защищая интересы населения, военные разыгрывали путч под руководством генерала, который был в какой-то мере симпатичен толпе, а затем, с претензией на свободные выборы, заменяли его своим ставленником.

Именно во время президентства Хусто, в период беспрецедентного изобилия и беспрецедентной же коррупции Эва Дуарте приехала в Буэнос-Айрес. Она явилась туда с твердым убеждением, что ей повезет, и открыто провозглашала, что собирается стать звездой аргентинской сцены: амбиции, которые, должно быть, казались ее товаркам такими же смехотворными, как если бы она сообщила, что в один прекрасный день станет первой леди страны. Проблема заключалась в том, что у Эвы не было ни таланта, ни опыта, она не обладала броской красотой и не блистала образованием, не имела ни денег, ни влиятельных друзей, а кроме того, не отличалась хорошим здоровьем. Но насмешки подружек, хотя и приводили ее в ярость, вероятнее всего, не могли ее обескуражить, поскольку в ней уже созрела та прочная убежденность в своем грядущем величии, которая заставляет человека становиться нетерпимым даже и к дружеской критике. Она была в том возрасте, когда фантазии наполняют жизнь любой девушки, пусть даже напрочь лишенной воображения, но мечты Эвы отнюдь не походили на меланхолические грезы, столь характерные для многих подростков. Немногие с такой силой стремились убежать от своей жизни, для нее же это составляло главную цель существования. Мечты Эвы были единственной отрадой в убогой и убивающей всякие иллюзии реальности. Ее излюбленное чтение выдает секрет ее сердца – она читала журнал, из тех, что все еще модны среди юных романтических девушек – «*Rosa Ti*», – печатавший рассказы о Золушках, которые добились успеха, или же биографии великих женщин, типа королевы Елизаветы или Жозефины.

Но если Эва питала свою душу мечтами, то ее тело получало необходимое в гораздо меньшей степени. Гитарист ее бросил, а за те маленькие роли, которые она получала на радио, ей платили всего пятнадцать долларов в месяц – едва ли достаточно для юной девицы-подростка, даже в стране мяса и вина. Она, наверное, голодала бы, если бы не имела возможности выпрашивать неаппетитные обеды в маленьком ресторанчике, который содержал друг матери, все еще верный донье Хуане.

Теперь перед ней предстала во всей красе жизнь высших слоев общества, жизнь, которой она домогалась. Она могла лицезреть неприступных матрон из числа аргентинской аристократии с их притворно скромными и утонченно-холеными дочерьми, мчавшихся на своих «даймлерах» в оперу; могла втягивать ноздрями восхитительные запахи, витающие у ресторанов, в освещенных витринах которых выставляли цыплят и уток, медленно вращающихся на вертеле; могла прогуливаться по Калье Флорида мимо изящных окон Жокей-клуба, под которыми в один прекрасный день она прикажет навалить гору рыбы, чтобы аристократы внутри имели реальную причину воротить носы, и внимательно разглядывать платья, которые, словно бес-

ценные бриллианты, развешивали по одному за стеклами маленьких дорогих магазинчиков. О, все это было так близко – и так далеко, словно она и не покидала Хунина!

Несмотря на свою убежденность в том, что ее ждет признание, Эва не выказывала ни малейших намерений работать, чтобы стать актрисой; она даже не представляла себе, что означает быть звездой. Она относилась с некоторым недоуменным презрением к тем профессионалам, которые достигали успеха благодаря упорному труду, и завидовала отнюдь не их таланту, но их положению, удивляясь тому, что они не используют по-настоящему все свои «возможности». Чем бы Эва ни занималась, ее в первую очередь интересовало не дело, но то впечатление, которое она производит. Это было похоже на то, как если бы хозяйка, выпекая торт, заботилась не о его вкусе, но только о том, чтобы создать очаровательный образ кухарки – в конце концов, когда придут гости, кто-нибудь всегда сможет выбежать и купить что-нибудь в кондитерской! Отнюдь не глупость, а скорее недопонимание помешало Эве сделать сценическую карьеру. Она не предпринимала ничего, чтобы научиться двигаться, исправить дикцию и увеличить свой словарный запас, хотя, как показало дальнейшее, имела к тому все возможности. У нее было чутье, она умела подражать мимике или манере речи и обладала превосходной памятью – порой она помнила наизусть целые роли звезд, но больше использовала ее для того, чтобы заносить в нее имена людей, которых можно было бы использовать, или запечатлеть лица тех, от кого терпела оскорбления. Эва не беспокоилась о недостатке образования или развития или, во всяком случае, не желала признаваться в подобном недостатке даже себе самой. Какие бы маленькие роли ей ни давали – а без влияния она не могла получить других, она переигрывала, возможно, из-за того, что слишком много думала о публике, проговаривала свои реплики слишком медленно, монотонно, повышая голос к концу каждого предложения – прием, которому она научилась еще в школе и который позже использовала в своих куда более прочувствованных речах, что придавало ее интонациям истеричную нотку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.